

—❖— КРИСТИНА СОЛЬ —❖—

ХРОНИКИ СНЕЖНОЙ

❖ Книга 8 ❖



Пепел,
что помнит

Кристина Соль

**Хроники Снежной. Книга
8. Пепел, что помнит**

«Автор»

2026

Соль К.

Хроники Снежной. Книга 8. Пепел, что помнит / К. Соль —
«Автор», 2026

Жрица должна знать сны своего рода. Но сны, которые я слышу, знают то, чего не должен знать никто, кроме одного человека. Я просыпаюсь в чужом теле не в первый раз — но впервые оказываюсь в роду, который умирает от засухи и безымянной хвори. Люди зовут меня Ладой. Никто не знает, что внутри — не она. Старший у огня уверяет: во всём виновата разгневанная гора. Я не верю духам — я верю только тому, что можно проверить дважды. Когда бред умирающих начинает повторяться слово в слово, я понимаю: кто-то однажды солгал роду — и эта ложь убивает их до сих пор. Один неверный вывод уже стоил роду человека. Второй раз ошибиться я не могу — даже если правда окажется опаснее гнева духов. Со мной — кольцо, которое помнит все мои жизни. Со мной — след человека, которого я ищу уже семь миров подряд. И рядом — следопыт, не верящий в духов, но готовый поверить в меня. Раскрыть чужую тайну легче, чем сберечь свою. Особенно когда до срока, отпущенного этому телу, остаётся всё меньше дней.

Содержание

Глава 1. Пепел ещё тёплый	5
Глава 2. Дыхание, которое берегут	8
Глава 3. Хворь без имени	10
Глава 4. Идущий по следу	12
Глава 5. Руки, что помнят	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Кристина Соль

Хроники Снежной. Книга

8. Пепел, что помнит

Глава 1. Пепел ещё тёплый

Тепло кольца было последним, что осталось от прежней жизни, и первым, что появилось в новой.

Костёр уже не вставал стеной — просел, разошёлся горящими брёвнами, и там, где секунду назад бушевало пламя высотой в два человеческих роста, теперь трещали и оседали угли, роняя редкие искры в почерневшую траву. Крик, который она слышала мгновение назад — то ли свой, то ли чужой, то ли принадлежащий сразу двум женщинам, о которых она пока ничего не знала, — оборвался. Остался только гул в ушах, дым, всё ещё щиплющий глаза, и чужое тело, которое нужно было заново научиться носить.

Глаза открылись сами — раньше, чем разум успел бы отдать такой приказ, — и руки, которыми она теперь распоряжалась, дрогнули следом, тоже сами по себе. Пальцы сами собой сжались, будто искали что-то, что должны были держать секунду назад, и не находили. Плечи, к которым она ещё не привыкла, помнили тяжесть чего-то, чего рядом уже не было — то ли посоха, то ли ветки, которую она, по всей видимости, бросила в огонь мгновением раньше того, как всё пошло не так.

Голоса вокруг замолчали не сразу, а рывками, словно целый круг людей разучивался говорить хором одну и ту же ритмичную фразу и никак не мог слаженно остановиться. Кто-то охнул. Кто-то — судя по звуку, ближе к ней — упал на колени.

Она узнавала мир не как физик узнаёт новое явление — через гипотезу, через проверку, — а так, как узнаёт его тело: раньше, чем она успела бы задать себе хоть один вопрос. Дым здесь пах не так, как пахло горелое топливо в мире искусственного солнца, не так, как дым горелой проводки — этот был плотный, смолистый, живой, с горчинкой хвои и ещё чем-то сладковатым, вроде подгоревшего мёда. Земля под коленями — а она стояла на коленях, поняла она с запозданием, — была сухой до звона, растрескавшейся мелкими бороздами, которые она ощущала кожей ладоней прежде, чем увидела глазами.

Семь раз до этого она просыпалась в чужом теле на грани его смерти. Семь раз — в лаборатории с искусственным солнцем, на палубе тонущего корабля, в кабинете с картотекой на неродном языке, в коридоре завода, в комнате с приборами, которые не она собирала, и ещё в двух жизнях, память о которых теперь отзывалась только смутным эхом без лиц. Каждый раз мир вокруг был другим настолько, что старые правила приходилось выбрасывать в первую же минуту. И каждый раз она находила у себя на пальце одно и то же кольцо — металл, который не менялся вместе с телом, вместе с именем, вместе с языком; металл, который сейчас, здесь, у гаснущего костра, всё ещё держал тепло, будто помнил что-то о переходе лучше, чем помнила она сама.

Не тело менялось от жизни к жизни — терялось почти всё: профессия, голос, лицо, привычка держать спину. Переносилось немного: она сама, кольцо и смутный, ничем пока не подтверждённый след человека по имени Матвей — не образ, не память, а что-то вроде отпечатка, который она различала не глазами и не разумом, а какой-то ещё не названной частью себя. В прошлой жизни, среди резонансных установок и государственных программ, она наконец узнала, что это не случайность. Что тела, в которые она попадает, — не чужие люди наугад, а версии её самой, живущие в других ветвях одной и той же разросшейся вселенной, под другими

именами, в других обстоятельствах, с одним и тем же неизменным разрезом глаз. Что авария в её собственной лаборатории когда-то связала её с теми точками, где какая-то из этих версий оказывается на волосок от смерти. Ответа на главный вопрос — можно ли это прекратить — она тогда не получила. Эксперимент, который мог хотя бы приблизить её к ответу, прервался раньше времени, за секунду до результата. Здесь, на новом пепелище, эта незавершённость никуда не делась — она просто перестала быть первой по важности мыслью.

Первой по важности мыслью было понять, куда именно она попала на этот раз.

— Жива, — произнёс кто-то рядом, не ей, а как будто в пространство, себе самому, не веря собственному голосу. — Она жива.

Она подняла голову. Люди — десятка два, может, больше, — стояли редким полукругом там, куда не доставал жар углей, и смотрели на неё так, как смотрят не на выжившую, а на нечто, вернувшееся из-за черты, откуда обычно не возвращаются, — с выражением, узнаваемым ей уже по семи прежним жизням. Свет умирающего костра лежал на их лицах неровно, выхватывая то скулу, то край плаща из грубой шкуры, то испуганно приоткрытый рот, и оставляя всё остальное тьме.

Один из стоявших — тот, чья тень выделялась среди прочих особой неподвижностью, — сделал шаг вперёд. Не бегом, не рывком, а так, как делает шаг человек, привыкший, что каждое его движение рассматривают отдельно от всех прочих.

— Лада, — сказал он, и в этом единственном слове было столько всего сразу — облегчение, недоверие, что-то похожее на страх, — что она поняла: это имя. Её новое имя. Ирина — так, по крайней мере, она называла себя сама, в те редкие мгновения, когда позволяла себе называться хоть как-нибудь, — приняла его молча, вместе с телом женщины, чью жизнь она теперь делила с чем-то ещё живым внутри него, чьё-то дыхание, чья-то не до конца погашенная воля тоже быть здесь.

Она попыталась заговорить — и не смогла. Не потому, что не знала языка: странно, необъяснимо, но она понимала каждое произнесённое вокруг слово, точно владела им всегда, хотя ни разу прежде его не слышала. Голос подвёл её по другой причине — горло было сухим, стянутым, как и вся эта потрескавшаяся земля вокруг, и первый звук, который ей удалось из себя выдавить, оказался не словом, а хриплым, почти животным вдохом.

Кто-то бросился к ней с бурдюком воды. Кто-то — женщина в годах, с седыми, туго заплетёнными косами — упала рядом на колени и обеими руками обхватила её лицо, вглядываясь так, словно искала в нём подтверждение, что перед ней действительно та, кого она знала, а не пустая оболочка.

— Ты вернулась не такой, — тихо сказала женщина, и в её голосе не было упрёка — только настороженность, с которой смотрят на что-то одновременно узнаваемое и до конца непонятное. — Дух в тебе не тот дух, что был в тебе вчера.

Она не нашлась, что на это ответить. По правде говоря, ей самой только предстояло понять, кто она теперь такая для этих людей и чего они от неё ждут — жрицы, вернувшейся из ритуала живой, но не совсем прежней.

Тот, что заговорил первым — высокий, с лицом, наполовину скрытым тенью, — не подошёл ближе. Он остался стоять там, где остановился, и смотрел на неё так, как смотрят не на чудо, а на нечто, что ещё предстоит разгадать. Она не умела читать людей по лицу так, как читала прежде показания приборов, но что-то в этой неподвижности, в отказе радоваться вместе со всеми, царапнуло её сильнее, чем осторожность старухи с седыми косами.

Костёр за её спиной осел ещё немного, отдав последний сноп искр темноте. Угли уже не горели — тлели, наливаясь то ярче, то тусклее, дыша, как что-то живое, укладывающееся спать. Она протянула к ним руку, чтобы просто почувствовать, что они настоящие, — и в этот момент кольцо на её пальце вдруг откликнулось собственным, отдельным от углей теплом, коротким

и ровным, словно узнавая ту же самую границу между живым и погасшим, на которой стояла сейчас она сама.

Пепел был ещё тёплым. Она сжала кулак вокруг этого тепла и заставила себя подняться на ноги.

Глава 2. Дыхание, которое берегут

Она проснулась медленно, точно выныривала с большой глубины, и первым, что она различила, был не свет и не звук, а запах — сухой, пыльный, ничем не похожий на дым вчерашнего костра. Пахло примятой травой, землёй и чем-то вроде дублёной кожи.

Шкура над головой была натянута на жерди так туго, что сквозь неё пробивался утренний свет ровным серым пятном, без единого солнечного луча, который мог бы пробиться щелью. Она лежала на подстилке из той же шкуры, и тело — не своё, но уже чуть более послушное, чем ночью, — отзывалось на каждое движение тупой, ровной усталостью, а не той резкой болью на грани обморока, с которой начиналась почти каждая из прежних семи жизней.

За пологом кто-то сидел. Она услышала дыхание раньше, чем увидела фигуру — размеренное, старательно тихое, как у человека, который решил дожидаться, пока она проснётся сама, и не торопить это ожидание ни звуком, ни движением.

— Ты не спишь, — сказала она — вернее, попыталась сказать, и вышло глухо, надтреснуто, но уже узнаваемо словами, а не хрипом, как накануне.

Полог откинулся. Женщина с седыми косами — та самая, что ночью держала её лицо в ладонях, — вошла, неся глиняную плошку, от которой пахло травами и чем-то кисловатым.

— Пей, — сказала она, не спрашивая, хочет ли она пить, и не дожидаясь ответа поднесла плошку к её губам сама, как подносят немощному или ребёнку. — Голуба тебя не первую ночь из костра вынимает. Знает, что после такого горло сохнет быстрее, чем душа возвращается на место.

Значит, у неё было имя — Голуба. Она запомнила его так, как запоминала в каждой новой жизни первые несколько имён: цепко, без усилия, словно откладывала в отдельный, специально расчищенный для этого угол памяти.

— Что со мной случилось? — спросила она, когда питьё, горькое и вязкое, немного смягчило горло.

— Тебя вернули духи, — просто ответила Голуба, будто это было не объяснением, а самым обычным фактом, вроде смены дня и ночи. — Или ты сама вернулась, а духи только смотрели. Об этом ещё будут спорить у костра не один вечер.

Она не стала уточнять, что не помнит, о чём именно духи должны были её спрашивать, — не потому, что боялась выдать себя, а потому, что чувствовала: сейчас любой прямой вопрос сорвётся с языка неправильно, выдаст в ней не ту растерянность, какую ждут от жрицы после трудного обряда, а совсем другую, чужую. Проще было слушать.

Слушать оказалось несложно — Голуба, как и всякий человек, привыкший заботиться о слабых, говорила охотно и без утайки, стоило только не перебивать её вопросами напрямую. Так, слово за словом, она узнала, что село на самом деле становище, что становище зовётся родом Огневичей, что род сидит у подножия горы, которую называют Чёрной Вершиной, и что гора эта считается не просто горой, а обиталищем тех самых сил, которых накануне у костра пытались о чём-то попросить.

О чём именно просили — Голуба не сказала прямо, но по тому, как она отводила взгляд, произнося это, было ясно: не о пустяке.

Наружу она вышла сама, оттолкнув чужую, заботливую руку: тело требовало проверить себя на ходьбе, а не на чужом слове. Утро оказалось таким, каким не бывает утро после дождя: воздух был сухим настолько, что царапал в горле сильнее, чем ночной дым, а трава под ногами хрустела, точно остатки прошлогодней соломы. Земля вокруг шатров была изрезана мелкими трещинами — не глубокими, не пугающими на вид, но их было так много, что вся почва казалась не единой поверхностью, а собранной из отдельных ссохшихся кусков, между которыми когда-то проступала влага, а теперь не оставалось ничего.

Люди рода занимались обычными делами — кто-то чинил силки, кто-то раскладывал у входа в шатёр сушёные травы, — но в этих обычных делах было слишком много тишины. Ни песен, ни перебранки, ни детского визга, какой обычно сопровождает любое становище по утрам. Взгляды, которые она ловила на себе, были короткими и настороженными, а потом отводились в сторону, к работе, словно разглядывать её слишком долго считалось у этого рода то ли неприличным, то ли опасным.

— Отчего так тихо? — спросила она у Голубы, шедшей рядом на полшага позади, как и подобает провожатой при жрице, но не при равной.

— Оттого что каждый лишний звук — это дыхание, которое можно было бы приберечь, — ответила Голуба, не сразу и без охоты. — Земля второй месяц пьёт из нас больше, чем отдаёт назад. Люди привыкли беречь силы там, где раньше не берегли.

Она посмотрела туда, куда неосознанно указал взгляд самой Голубы, — в сторону едва заметной ложбины между двумя пологими холмами, где, судя по руслу, петляющему среди камней, когда-то должен был течь ручей. Русло не пересохло вовсе — обмелело настолько, что вода в нём стояла лишь мелкими, застоявшимися лужицами, подёрнутыми на солнце нездоровой рыжеватой плёнкой.

— Это не тот ручей, что зовут Материнским? — спросила она, и слово сорвалось с языка прежде, чем она успела задуматься, откуда его знает: Голуба этого слова не произносила, и ни одна из прежних жизней его не знала — оно просто всплыло из той части памяти, что принадлежала не ей, а телу Лады, глубже любых её собственных, сознательных вопросов.

Голуба остановилась. Помолчала так долго, что тишина между ними стала весомее любого ответа.

— Материнский жив, — сказала она наконец, тщательно подбирая слова, как подбирают их не для лжи, а для того, чтобы обойти правду по краю, не наступив на неё прямо. — Просто обмелел. Так уже бывало.

Она не поверила этому «так уже бывало» — не потому, что уловила в голосе Голубы фальшь, а потому, что сама фраза была слишком аккуратной, слишком заранее готовой, чтобы звучать как случайное объяснение. Такие фразы не рождаются в разговоре — их выучивают заранее, на случай, если однажды придётся ответить кому-то любопытному.

Где-то за шатрами, дальше по склону, донёсся протяжный, надтреснутый стон, оборвавшийся почти сразу же, будто тот, кто издал его, из последних сил не позволил себе продолжить. Несколько человек рядом одинаково замерли на долю мгновения, а потом так же одинаково вернулись к своим делам — слишком слаженно, слишком привычно для того, чтобы это было впервые.

— Кто это? — спросила она.

Голуба не ответила сразу. Вместо этого она посмотрела мимо, куда-то в сторону дальних шатров, стоявших чуть на отшибе, отдельно от общего круга становища, — и в этом взгляде было куда больше сказано, чем в любом из её выученных, аккуратных ответов.

— Это то, о чём тебе как раз и полагается знать, — сказала она наконец. — Раз уж ты снова среди живых.

Глава 3. Хворь без имени

Дальние шатры оказались не такими уж дальними — три десятка шагов по вытоптанной тропе, огибающей общий круг становища с той стороны, откуда не дул ветер. Она поняла это ещё до того, как Голуба вслух объяснила зачем: чтобы запах не долетал до здоровых.

Полог у первого шатра был откинут не до конца — ровно настолько, чтобы внутрь проникал воздух, но не любопытные взгляды. Голуба задержалась перед входом дольше, чем требовалось для простого приглашения войти.

— Тебе положено знать сны тех, кто хворает, — сказала она, понизив голос, хотя рядом никого больше не было. — Так велось у нас всегда: жрица приходит и слушает, что человеку снится, пока он горит. Духи через сон говорят охотнее, чем через явь.

— А если человек не помнит, что ему снилось?

— Тогда ты слушаешь то, что он говорит в жару, не просыпаясь. Оно то же самое, только без порядка.

Она кивнула, словно это было для неё привычным делом, хотя внутри — там, где всё ещё жила Ирина, привыкшая доверять только тому, что можно измерить и повторить, — поднялось неуютное, почти профессиональное любопытство. Опрос свидетеля в состоянии, где сознание уже не контролирует речь, — метод, о котором она кое-что знала, просто никогда прежде не применяла его к снам и духам.

Внутри шатра было жарко и душно настолько, что воздух казался плотным, почти осязаемым — смесь пота, прогорклого жира от лампы и травяного отвара, который жгли в глиняной плошке у входа, то ли для очищения воздуха, то ли для того, чтобы заглушить всё остальное. На подстилках лежали трое: старик с седой, свалывшейся бородой, женщина помоложе, чьё лицо блестело от испарины, и подросток — мальчик, чьи глаза были приоткрыты, но взгляд ни на чём не задерживался.

— Ярец слёг вторым, — тихо сказала Голуба, кивнув на старика. — Первым слёг человек, который уже не встал. Года не прошло, как хворь у нас появилась — раньше о ней и не слышали.

Она опустила на колени рядом со стариком. Его дыхание было частым, поверхностным, а кожа — сухой и горячей одновременно, будто тело давно перестало справляться с тем, чтобы удерживать в себе хоть каплю лишней влаги. Она невольно вспомнила потрескавшуюся землю снаружи — то же самое ощущение обезвоживания, только уже не почвы, а человека.

— Ярец, — позвала она тихо, — ты слышишь меня?

Старик не открыл глаз, но губы его дрогнули, и с них сорвался звук — не слово, а что-то среднее между стоном и попыткой заговорить.

— ...камень пьёт, — произнёс он наконец, разборчиво, хоть и едва слышно. — Гора открыла рот и напилась раньше нас. Теперь наша очередь голодать.

Она замерла. Не потому, что фраза звучала пугающе — за семь прежних жизней ей случалось слышать бред умирающих людей на самых разных языках, и почти всегда это оказывался хаотичный набор образов, обрывки страха, смешанные со случайными воспоминаниями. Эта фраза была другой — слишком связной, слишком завершённой для простого бреда, будто кто-то заранее сложил её в голове старика и оставил там дожидаться момента, когда сознание ослабнет достаточно, чтобы выпустить её наружу.

— Что за камень? — тихо спросила она, наклонившись ближе.

Ярец не ответил. Дыхание его снова стало ровнее, глубже — он соскользнул обратно в тот полусон, из которого она успела выдернуть только одну фразу.

Она перешла к женщине. Та металась на подстилке, то сжимая, то разжимая пальцы, точно пыталась ухватить что-то, ускользающее из рук.

— ...вода чёрная внутри белого камня, — пробормотала женщина, не открывая глаз, тем же ровным, лишённым бредовой сбивчивости голосом. — Течёт, где не должна. Никто не видел, а она течёт.

Она похолодела — не от страха, а от узнавания. Второй человек, никак не связанный с первым ни родством, ни соседством шатров, судя по расположению становища, произносил в бреду образ, который перекликался с только что услышанным настолько точно, что списать это на случайность было почти невозможно. Не одно и то же слово в слово — но один и тот же корневой образ: камень, вода внутри него, нечто, что пьёт или течёт там, где не должно.

Она обернулась к Голубе.

— Они ведь не разговаривали друг с другом в последние дни?

— Ярец третьи сутки без памяти лежит, — покачала головой Голуба. — А Милида — с позавчерашнего вечера. Даже если бы захотели, слова сказать друг другу не успели бы.

Мальчик на третьей подстилке беспокойно повернул голову, и с его губ сорвался короткий, невнятный всхлип, в котором она различила не связную фразу, а один-единственный обрывок: «...гора... пила...» — прежде чем он снова затих, ничего не добавив.

Три голоса — три человека, не имевшие возможности сговориться, — независимо друг от друга произносили вариации одного и того же образа. Она сидела неподвижно, чувствуя, как в ней одновременно происходят два разных процесса: тело Лады, привычное к разговору с духами через сон, воспринимало это как подтверждение — духи говорят одно и то же, значит, говорят правду; а голос Ирины, тот самый, что годами приучал себя не доверять единичным совпадениям, настаивал на другом объяснении, куда более земном. Совпадающий образ в разных головах — не всегда знак свыше. Иногда это знак того, что кто-то заранее и умышленно вложил его туда — во время обряда, разговора, слуха, разошедшегося по становищу так давно, что никто уже не помнит, откуда он взялся.

Она не знала пока, какое из двух объяснений верно. Но впервые с момента пробуждения у костра почувствовала нечто похожее на азарт — не радостный, а тот собранный, внимательный азарт, с которым она прежде садилась за анализ данных, только здесь вместо приборов у неё были чужие сны, а вместо цифр — образы, повторяющиеся слишком точно, чтобы быть просто совпадением.

— Сколько ещё таких, как эти трое? — спросила она.

Голуба ответила не сразу — словно прикидывала, стоит ли называть цифру вслух.

— Больше, чем хотелось бы. Меньше, чем боятся некоторые.

— Мне нужно послушать остальных.

— Услышишь, — сказала Голуба, и в её голосе впервые за утро прозвучало что-то похожее на облегчение, будто она давно ждала, чтобы кто-то произнёс это вслух вместо неё самой. — Только не сегодня. Сегодня тебе полагается прийти к старшим и сказать им, что дух в тебе — тот же самый, что был вчера. Не пугать род раньше времени тем, что ты видишь что-то, чего не видят они.

Она поднялась с колен, чувствуя, как влажная духота шатра липнет к коже даже снаружи, на сухом, потрескавшемся воздухе становища. Три голоса — три отдельных, не сговаривавшихся друг с другом человека — продолжали звучать у неё в голове, повторяя один и тот же образ камня, который открыл рот и напился раньше всех остальных.

Хворь, о которой она ещё вчера ничего не знала, теперь имела не имя — но форму. И форма эта, кажется, была придумана не горой.

Глава 4. Идущий по следу

К старшим она не пошла — по крайней мере, не сразу.

Голуба отстала у последнего шатра, окликнутая кем-то из соседей, и на то короткое время, что понадобилось старой ткачихе для чужого разговора, Лада — то есть теперь уже она сама, в теле Лады, — осталась одна посреди становища впервые с момента пробуждения. Идти к старшим значило снова отвечать на вопросы, для которых у неё пока не было готовых ответов. Идти к пересохшему руслу значило хотя бы попытаться увидеть беду своими глазами, а не только слышать о ней с чужих слов.

Она свернула не в ту сторону.

Тропа, ведущая прочь от становища, была вытоптана многими ногами, но давно — трава по её краям стояла плотной стеной, не примятой в последние дни, словно люди рода перестали ходить этим путём, стоило воде уйти. Подлесок вокруг был сухим настолько, что каждый шаг отдавался хрустом валежника, а не мягким шелестом травы, к которому она успела бы привыкнуть в любом менее иссушенном мире.

Обмелевшее русло, которое она уже видела издалека утром, вблизи оказалось ещё безрадостнее. То, что должно было быть быстрым, полноводным потоком — судя по ширине берегов, изрытых старым течением, — теперь превратилось в цепочку разрозненных мутных луж, соединённых сухими, растрескавшимися перемычками камня и ила. Рыжеватая плёнка на поверхности воды при ближайшем рассмотрении оказалась не просто отражением солнца — плёнка была настоящей, маслянистой, и там, где ветер морщил лужу, она расходилась медленными, неохотными разводами.

Она присела на корточки у самой кромки, разглядывая эту плёнку так пристально, будто перед ней был не ручей, а образец под линзой прибора, которого здесь, разумеется, не было и быть не могло. Что-то в составе воды изменилось — этого хватило бы одного взгляда физика, оставшегося в ней от прежних семи жизней, чтобы понять: обычная засуха не красит воду в такой оттенок.

— Жрицам не полагается трогать воду руками, если она сама не идёт к алтарю.

Голос раздался сзади, спокойный, без насмешки, но и без особой почтительности. Она обернулась. Мужчина стоял на границе тропы и подлеска — высокий, жилистый, с луком за плечом и связкой силков в руке, — и смотрел на неё не так, как смотрели этим утром люди становища: без страха, без того особого узнавания, с каким смотрят на вернувшуюся из-за грани. Он смотрел на неё, как смотрят на что-то незнакомое, требующее проверки.

— А что мне полагается? — спросила она, не вставая, продолжая разглядывать воду.

— Сидеть у огня и объяснять роду, зачем духи так долго держали тебя на той стороне, — сказал он, подходя ближе, но не настолько, чтобы это выглядело угрозой. — Вместо этого ты трогаешь дохлую воду руками, будто она может рассказать тебе больше, чем скажут духи.

— А может.

Он остановился в паре шагов, и впервые за это утро кто-то посмотрел на неё не с испугом и не с благоговением, а с чем-то похожим на любопытство — придирчивым, почти профессиональным, как смотрит человек, привыкший разбираться в следах, на непонятный отпечаток, который пока не может отнести ни к одному знакомому зверю.

— Радим, — сказал он, не то представляясь, не то просто давая ей повод обратиться к нему по имени, если она сочтёт нужным. — Слежу за родом с той стороны, откуда не приходят духи, — за тем, что можно унести домой на плече или прочитать по следу.

— И часто след говорит вернее духов?

— Чаше, чем принято признавать вслух у костра.

Она наконец поднялась, отряхнув колени, и повернулась к нему уже не как к случайному встречному, а как к человеку, чьи слова стоило запомнить дословно.

— Ярец, — сказала она. — Ему снится, что гора открыла рот и напилась раньше нас. Женщине по имени Милида снится чёрная вода внутри белого камня. Это не просто болезнь, правда?

Радим долго молчал, разглядывая её с тем же прищуром, каким, наверное, разглядывал бы незнакомый след на влажной земле — пытаюсь понять, свежий он или оставлен давно, принадлежит ли зверю, которого стоит опасаться, или тому, кто просто прошёл мимо.

— Ты спрашиваешь так, будто уже знаешь ответ, — сказал он наконец. — Обычно духов не расспрашивают. Их слушают и передают роду то, что услышали, — не больше и не меньше.

— Я не привыкла верить одному голосу, если можно услышать два, — ответила она, тщательно подбирая слова так, чтобы они звучали как рассуждение жрицы о духах, а не как метод, вынесенный из семи прежних жизней. — Ярец и Милида не разговаривали друг с другом много дней. И всё равно говорят об одном и том же камне.

Что-то в его лице дрогнуло — не удивление, а нечто более осторожное, похожее на человека, который слышит вслух собственную непроговорённую мысль из чужих уст.

— Я тоже это заметил, — сказал он тише. — Только не у больных. У воды.

Он присел на корточки рядом с ней, у самой кромки лужи, и провёл пальцем по краю рыжеватой плёнки, не касаясь самой воды.

— Три года назад гора, говорят, ворочалась во сне, — сказал он, кивнув куда-то вверх по склону, туда, где русло терялось между камнями. — Меня тогда не было в становище — ушёл на дальние угодья на всю осень. Знаю только с чужих слов, что с тех пор вода иногда пахла иначе после дождей — не так, как раньше. Никто не придавал этому значения. Мало ли что бывает после того, как гора поворачается во сне.

— Кто такой старший у огня?

— Усад, — коротко ответил Радим, и в том, как он произнёс это имя — без почтения, но и без открытой неприязни, — она уловила осторожность человека, давно научившегося не говорить о старших больше, чем нужно, даже перед чужаком, вернувшимся из огня живым. — Шаман рода. Дольше меня самого стоит у этого костра.

Она промолчала, откладывая имя в тот же угол памяти, где уже лежали Голуба, Ярец, Милида — но откладывая его отдельно, с какой-то смутной, пока необъяснимой настороженностью, точно само упоминание этого человека несло в себе больше веса, чем короткая фраза Радима.

— Ты не веришь, что духи говорят через сны, — сказала она, меняя направление разговора. — Тогда во что веришь ты?

— В то, что можно проверить дважды и получить один и тот же ответ, — сказал он, поднимаясь и отряхивая ладони. — Если завтра Ярец снова заговорит про камень, а послезавтра то же самое скажет кто-то третий, кого не было в этом шатре последние дни, — тогда я поверю не в духов, а в то, что кто-то с самого начала знал больше, чем говорил роду.

Она посмотрела на него — на человека, для которого недоверие было не дерзостью, а рабочим инструментом, — и впервые с момента пробуждения у костра почувствовала не растерянность чужого тела, а что-то похожее на узнавание. Не духов. Не механики перехода. Просто — родственный склад ума, случайно нашедшийся там, где она меньше всего рассчитывала его встретить.

— Тогда, может быть, поищем этого третьего вместе, — сказала она.

Радим не ответил сразу. Он смотрел на неё ещё одно долгое мгновение — снова тем самым прищуром, каким смотрят на непрочитанный до конца след, — а потом коротко кивнул, словно это решение стоило ему меньше, чем должно было бы стоить решение довериться жрице, вернувшейся из огня другой.

— Лада! — донёлся издалека женский голос, встревоженный и запыхавшийся — кто-то из становища бежал к ним через подлесок. — Тебя старшие зовут, немедля!

Радим коротко глянул в сторону голоса, потом снова на неё.

— Иди, — сказал он. — Старшим не понравится, если увидят, что ты ищешь ответы у следопыта, а не у духов. Найдёшь меня после — если старшие тебя вообще отпустят раньше заката.

Глава 5. Руки, что помнят

К вечеру старшие рода всё-таки получили то, что им было нужно: слово из уст самой жрицы, что дух в ней прежний, что духи испытали её и отпустили обратно живой, что род может спать спокойно ещё одну ночь. Слова дались ей легче, чем она рассчитывала, — не потому что она научилась лгать этому месту, а потому что тело Лады, кажется, само подсказывало нужные интонации, как подсказывает выученная роль, которую играли уже не в первый раз.

После этого у неё оставалось дело, назначенное ей задолго до сегодняшнего утра и никак не зависящее от её собственных решений: старшие постановили, что жрице, вернувшейся из огня, полагается сесть за женскую работу вместе с Голубой — не потому, что род сомневался в её духовной силе, а потому, что руки, занятые привычным трудом, лучше успокаивают дух, чем праздное сидение у костра.

Шатёр Голубы стоял ближе к центру становища, чем шатры больных, и внутри пахло совсем иначе — не потом и травяным дымом, а шерстью, дублёной кожей и чем-то резким, почти едким, исходившим от нескольких глиняных горшков с краской, выставленных вдоль стены. Сама Голуба сидела на низкой скамье, перебирая только что вычесанную шерсть, и, не поднимая головы, кивнула ей на место напротив.

— Садись. Пальцы новой жрицы должны знать нить не хуже, чем знают огонь.

Она села, взяла протянутый пучок шерсти и попыталась повторить движение, которым Голуба вытягивала из него тонкую, ровную нить, накручивая её на веретено. Получалось плохо — руки Лады помнили это движение телесно, привычно, но её собственное внимание всё время соскальзывало, мешая пальцам довериться заученной сноровке. Веретено дважды падало на утоптаный земляной пол, и оба раза Голуба поднимала его без единого слова упрёка, просто вкладывая обратно ей в руку.

К третьей попытке движение стало получаться — не идеально, но достаточно ровно, чтобы руки могли работать, не требуя постоянного внимания разума. Именно тогда, когда её мысли наконец освободились от самого веретена, Голуба заговорила — не в ответ на вопрос, которого не было, а просто вслух, как говорят себе под нос за привычной работой.

— Меня в твои годы тоже сажали за нить, когда я слишком много спрашивала у старших, — сказала она, не отрывая взгляда от собственных рук. — Говорили: язык от работы отдыхает, а руки делом заняты — оттого меньше глупостей выходит наружу.

Она промолчала, стараясь не выдать того, с каким вниманием слушает — не позой, не взглядом, а только той тишиной, с которой опытный собеседник умеет не спугнуть чужую готовность рассказывать.

— В тот год, когда гора в последний раз ворочалась во сне, я как раз садилась за такую же шерсть, — продолжила Голуба, всё так же обращаясь скорее к нити между пальцами, чем к слушательнице напротив. — Обвал был небольшой, дальше по склону, у самого истока. Мужчины сходили посмотреть — сказали, камня насыпалось на телегу-другую, не больше, и что земля там теперь пахнет странно, как перед грозой, только грозы не было.

Она не задала вопроса. Только чуть замедлила движение веретена, давая понять — незаметно, одними лишь руками, — что готова слушать дальше столько, сколько Голуба сама сочтёт нужным рассказать.

— Услад тогда был моложе, чем теперь, — сказала Голуба, и в её голосе впервые за разговор промелькнуло что-то похожее на давнее, притупленное временем беспокойство. — Помню, он три дня не выходил к роду после того обвала — сидел один у истока, разговаривал с горой, как он это называл. А когда вышел, сказал, что дух воды разгневан, и что нужен обряд, чтобы усмирить его, иначе Материнский обидится на весь род и уйдёт совсем.

Веретено в её собственных руках почти остановилось — она заставила пальцы продолжать движение, боясь, что тишина выдаст интерес сильнее, чем любой прямой вопрос.

— Обряд провели, — сказала Голуба, вздохнув, как вздыхают о деле давнем и, казалось бы, закрытом. — С тех пор вода иногда пахла иначе после дождей, особенно ближе к концу лета. Кто-то жаловался на привкус. Услад каждый раз говорил, что это отголоски старого гнева, что дух ещё не до конца успокоился, что нужно потерпеть. Мы и терпели. Мало кто в роду помнит теперь, что до того обвала вода вовсе не имела привкуса, о котором стоило бы говорить вслух.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.